

вы» военной агрессии (с современной точки зрения) не требуют спасения со стороны Героя, а сами являются Героем в силу принадлежности к готскому сообществу.

По мнению Дж. Лакоффа [Lakoff 1996], основной вопрос политического дискурса – вопрос морали. Однако основания морали в разные исторические эпохи неравнозначны. Готы приносили своим богам человеческие жертвы (культ бога войны Арея фракийского), и военнопленные были средством умиловать богов, поэтому и война – средство умиловать богов, а значит улучшить свое благосостояние, отвести от своего народа беды и несчастья. При таком мировоззрении война моральна по определению, для ее оправдания не нужна «слабая Жертва». «Слабая Жертва» – это и есть враг-Злодей, потенциальный кандидат занять место на жертвенном алтаре. Для средневековой готской «Сказки о справедливой войне» достаточно *бинарной модели*.

Как отмечает А. П. Чудинов, «логика развития науки такова, что достижение поставленных целей открывает новые горизонты» [2001: 223]. В контексте настоящего исследования возникает вопрос, почему же бинарную модель «Сказки о справедливой войне» вытеснила тринарная модель?

Во времена Иордана христианизация варварских германских племен еще только началась. Можно предположить, что позднейшее становление или заимствование тринарной модели связано с распространением среди германцев христианства, с формированием в общественном сознании мелиоративных признаков концепта жертвенности, становлением этики защиты слабого, императивом соблюдения десяти заповедей. Однако для подтверждения или опровержения этой гипотезы об экстралингвистических факторах трансформации *бинарной модели* в *тринарную* требуются дополнительные исследовательские изыскания.

Хронологические варианты фрейма «Сказки о справедливой войне» варьируется в военных нарративах в корреляции с конфессиональными и этнокультурными факторами, поэтому полученные данные не являются основанием для экстраполяции выводов на весь раннесредневековый европейский политический дискурс. Однако они заставляют осторожнее относиться к хронологической универсализации полученных в рамках анализа современного политического дискурса закономерностей.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политической коммуникации. М., 2007.

Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург, 2007.

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивно-дискурсивное исследование политической метафоры. Екатеринбург, 2001.

Abrantes A. M. As Dimensões Semântica e Pragmática do Eufemismo na Imprensa. Uma abordagem cognitiva. Lisboa, 2001.

Bassi S. *I sistemi metaforici concettuali nella politica contemporanea*. Torino, 1996.

Hiebert R. Public Relations and Propaganda in Framing the Iraq War: A Preliminary Review // *Public Relations Review*. 2003. Vol. 29. № 3.

Kennedy V. Intended tropes and unintended metaphors in reporting on the war in Kosovo // *Metaphor and Symbol*. 2000. Vol. 15. № 4.

Kuusisto R. Framing the Wars in the Gulf and in Bosnia: The Rhetorical Definitions of the Western Power Leaders in Action // *Journal of Peace Research*. 1998. Vol. 35.

Lakoff G. Don't Think Of An Elephant! Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives. White River Junction, 2004.

Lakoff G. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // [metaphor.uoregon.edu/lakoff-1.htm](http://metaphor.uoregon.edu/lakoff-1.htm) – 1991.

Lakoff G. Moral Politics: What Conservatives Know That Liberals Don't. Chicago, 1996.

Mowlana H., Gerbner G., Schiller H. Triumph of the image: The media's war in the Persian Gulf: A global perspective. Boulder, 1992.

Rolandi F. Just or unjust wars: la stampa italiana e le guerre contro l'Iraq (1991-2003). Milano, 2005.

Zaccarella P. Politica estera e comunicazione: La prima guerra del golfo secondo "La Repubblica" e "L'Unita". Torino, 2005.

© Будаев Э.В., 2007

Будаев Э. В., Чудинов А. П.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Россия

### ЭВОЛЮЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТОЛОГИИ\*

#### Abstract

*The paper investigates the genesis and development of linguistic sovietology. The analysis of researches carried out in the USA and the UK delineates three stages in the evolution of this trend. The first stage is bounded by the time interval stretching from the October Revolution to World War II. The peculiarities of this stage are linked to a simultaneous formation of political communication research against the background of popularity of left ideology in the USA and the UK. The next stage covers the years of the Cold War, when ideological struggle was especially tensed. Finally, the article surveys the period embracing perestroika and the break-up of the Soviet Union.*

\*\*\*

Выступая в Колумбийском университете 26 сентября 2003 года, президент России

\* Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (грант 07-04-02002а – Метафорический образ России в отечественном и зарубежном политическом дискурсе).

В.В. Путин призвал «упразднить советологию», поскольку «СССР уже нет, а советология до сих пор существует». Далее президент пояснил, что он имеет в виду такую науку, которая была чрезмерно политизирована и служила «инструментом, чтобы нанести друг другу как можно больше ударов, уколов и всяческого вреда» (официальный сайт Президента России [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)). Несмотря на то, что рассматриваемое высказывание В.В. Путина воспринимается как шутовское, целесообразно еще раз обратиться к истории советологии, ее основным разделам и этапам развития.

В зарубежной науке и публицистике термин «советология» (sovietology) получил широкое распространение в середине прошлого века для обозначения научного направления, посвященного изучению политики, экономики, культуры, науки и иных сторон жизни Советского Союза (Малиа 1997). Оксфордский словарь отмечает его первое употребление 3 января 1958 г. в лондонском еженедельнике "Observer". В академических кругах термин поначалу был воспринят достаточно осторожно. На рубеже 1950-60-х гг., как писал Д. Армстронг, «основатели американского изучения СССР все еще отвергали определение «советология», отдавая предпочтение более банальному «изучению российского региона». А. Улам отмечал в середине 1960-х гг., что «советология» – ужасное слово, но как можно его не использовать?» К такой позиции был близок и С. Коэн, для которого «советология – неэлегантное, но полезное слово». (Меньковский В. <http://newsletter.iatp.by/ctr3-4.htm>). В зарубежной традиции рассматриваемый термин не имеет какой-либо оценочной коннотации, тогда как в Советском Союзе его обычно использовали с уничижительными определениями.

В близком значении иногда использовался термин «кремлинология» (kremlinology), внутренняя форма которого подчеркивала повышенный интерес соответствующих специалистов к дискурсу советских лидеров, которые жили и работали в Кремле. Поэтому кремлинология нередко определяется как исследование дискурса советских (а теперь и российских) политических лидеров.

Вместе с тем следует отметить, что советология и кремлинология – это еще и обозначения соперничающих научных направлений. Классические советологи акцентировали эвристичность своих методов и достоверность прогнозов, тогда как кремлинологи подчеркивали, что их внимание к деталям приносит весьма существенные результаты. Например, советологи гарвардской и чикагской научных школ скептически относились к «кремлинологам», сосредоточившим внимание на мельчайших изменениях в языке, поведении, образе жизни «хозяина Кремля» и его ближайшего окруже-

ния. Так, «гарвардцы» считали поспешными выводы кремлинолога М. Раша [Rush 1958], указывавшего на становлении «культы Хрущева» на основании того, что в газете «Правда» от 1955 г. привычную подпись «первый секретарь» вдруг написали с заглавных букв («Первый Секретарь»), а в речи Хрущева обнаружилось «типичные словечки Сталина». Кремлинологи же любят вспоминать, как они, уделявшие пристальное внимание протокольности коммунистической элиты, обратили внимание на то, что как-то в Большом театре среди большевистских лидеров не оказалось Берии, и сделали вывод о его смещении. Скептики говорили о том, что, может быть, Берия не любит балета, но через несколько дней Берия был объявлен предателем [Bell 1958].

В вышедшем в постсоветский период исследовании этапов развития рассматриваемого научного направления М. Малиа представляет советологию как «академическую дисциплину, известную сначала под скромным определением «изучение региона», а затем под более амбициозным и научно звучащим понятием «советология». По мере накопления исследований и дифференциации научных интересов появились политическая, экономическая, социологическая, юридическая и иные виды советологии (Малиа 1997). Несмотря на позднее «терминологическое оформление» указанных исследований под наименованием «советология», точкой отсчета для этого направления стало возникновение на политической карте мира Советской России и СССР, потому что первые советологические исследования появляются сразу после возникновения советского государства.

В комплексе советологических направлений важное место занимает лингвистическая советология, предметом исследования которой служат языковая политика в СССР, особенности советского тоталитарного дискурса, функционирование, взаимодействие и эволюция языков народов Советского Союза. Вполне закономерно, что основное внимание советологи уделяли русскому языку как языку «межнационального общения», который никогда не признавался государственным, но реально был таковым все годы существования советской власти.

Представляется возможным говорить о четырех этапах существования лингвистической советологии. Первый – этап становления – относится к периоду с 20-х гг. до конца второй мировой войны. Особенности этого периода связаны с тем, что практически одновременно создавались и политическая лингвистика, и политическая советология, а левые идеи были весьма популярны в Северной Америке, Западной Европе и других регионах.

Следующий этап приходится на период холодной войны, когда идеологическое противо-

стояние было максимально обостренным и многим казалось, что близится начало третьей мировой войны. Именно в эти годы многие западные советологи стремились найти общие черты в советском и фашистском политическом дискурсе, хотя советским специалистам кощунственной казалась уже сама попытка такого сопоставления.

Третий этап совпадает со временем «разрядки» в отношениях между Советским Союзом и США, между странами Варшавского договора и НАТО. Угроза прямого военного столкновения миновала, но сохранялась острая идеологическая борьба, которая сопровождалась боевыми действиями во Вьетнаме, в Афганистане и иных регионах.

Четвертый этап относится к периоду перестройки и демонтажа советской системы, когда политические разногласия обострились уже внутри советской страны, а зарубежные консультанты все чаще начали выступать как эксперты по вопросам строительства новой политической системы в России.

Исследования российского политического языка, по-видимому, уже выходят за рамки советологии и в последние годы нередко обозначаются зарубежными специалистами как «постсоветология» (post-sovietology), но этот термин представляется нам крайне неудачным.

В Советском Союзе долгие годы считалось, что вся советология основана на клевете на социалистическое государство, а советологи – малограмотные лжецы, клеветники и агенты вражеской разведки, изначально ненавидящие все русское и советское. Разумеется, среди советологов было немало людей ослепленных ненавистью или сознательно зарабатывающих себе на жизнь заказными разоблачениями и страшилками. Вместе с тем среди советологов были и талантливые ученые, которые стремились к объективности и смогли зафиксировать то, что оставалось скрытым для политически ангажированных авторов по обе стороны границы. Именно такие исследователи и заслуживают подлинной благодарности потомков. Следует, однако, подчеркнуть, что при обращении к публикациям западных специалистов практически всегда можно «вычислить» политическую ангажированность авторов, которая нередко проявляется в непосредственных обвинениях, негативных оценках и использовании всего арсенала манипулятивных приемов. Вместе с тем всегда были специалисты, которые изучали советскую политическую коммуникацию с помощью объективных научных методов, используемых в современных гуманитарных науках.

Рассмотрим основные этапы становления и развития лингвистической советологии в Северной Америке и Западной Европе.

### **1. Становление лингвистической советологии.**

К числу основоположников лингвистической советологии и политической коммуникативистики в целом справедливо относят Уолтера Липпманна (1889-1974), который в годы Первой мировой войны писал пропагандистские листовки для армии союзников во Франции, а затем занялся изучением проблемы эффективности политической агитации и пропаганды. Многие его идеи уже давно воспринимаются как аксиомы и прописные истины, соответствующие исследования стали своего рода базой для формирования понятийно-терминологического аппарата политической лингвистики. Например, в современной науке активно используется предложенное У. Липпманном понятие «процесса определения повестки дня» (agenda-setting process), т.е. высвечивания в политической коммуникации одних вопросов и замалчивания других. Таким образом, ученый разграничил такие явления, как реальная актуальность той или иной проблемы и ее «значимость» в восприятии общества, а также охарактеризовал определение повестки дня как важный прием манипулирования политическим сознанием.

У. Липпманн разработал эффективную методику применения контент-анализа как инструмента для исследования общественных представлений о политической картине мира. В частности, еще в 1920 году У. Липпманн совместно с Ч. Мерцем опубликовали исследование корпуса текстов газеты «The New York Times», которые были посвящены Октябрьской революции в России. Анализ показал, что среднему американцу невозможно было составить сколько-нибудь объективного мнения о происходящих событиях ввиду антибольшевистской предвзятости публикуемых текстов (Lippmann, Merz 1920).

Теоретические выводы У. Липпманн совмещал с практической политической деятельностью и оказывал влияние на принятие решений на самом высоком уровне. Так, будучи советником президента В. Вильсона, исследователь участвовал в составлении знаменитых «14 тезисов», в корне изменивших внешнеполитический курс США.

Важную роль в становлении политической лингвистики сыграл Пол Лазарсфельд (1901-1976), активно занимавшийся изучением пропаганды в Колумбийском университете. В 1937 г. он руководил исследовательским проектом по изучению воздействия радиовещания на американскую аудиторию. Впоследствии этот проект вылился в создание «Бюро прикладных социальных исследований» – исследовательского института, который занимался вопросами политической и массовой коммуникации. Вместе со своим коллегой Р. Мертоном П. Лазарсфельд разработал метод опроса фо-

кус-группы, который применялся для сбора данных об отношении рядовых американцев к различным политическим проблемам, среди которых важное место занимало отношение к тоталитарным идеологиям и соответствующим режимам.

Среди ведущих американских советологов называют также профессора Гарольда Лассвелла (1902–1978), которому принадлежит заслуга значительного развития методики контент-анализа и ее эффективного применения к изучению языка политики. С помощью контент-анализа Г. Лассвеллу удалось продемонстрировать связь между стилем политического языка и политическим режимом, в котором этот язык используется. По мнению исследователя, дискурс политиков-демократов очень близок дискурсу избирателей, к которым они обращаются, в то время как недемократические элиты стремятся к превосходству и дистанцированию от рядовых членов общества, что неизбежно находит отражение в стилистических особенностях языка власти. Языковые инновации предшествуют общественным преобразованиям, поэтому изменения в стиле политического языка служат индикатором приближающейся демократизации общества или кризиса демократии. Использование этой методики позволило сделать вывод о том, что политический язык советской элиты на протяжении двадцатых-сороковых годов все дальше и дальше уходил от демократических традиций.

Среди первых европейских исследований советского политического языка выделяются изданные в Париже книги А. Мазона [Mazon 1920] и Э. Мендра [Mendras 1925], в которых отмечаются активизация аббревиации, экспансия варваризмов и жаргонизмов, а также переименования городов, новые личные имена. Среди первых книг следует отметить небольшую монографию С. И. Карцевского «Язык, война и революция» (1923). Рассматривая лексико-семантические изменения в политической речи после Октябрьской революции, автор указывает на партикуляцию значений в «старых» словах, на повышенную эвфемизацию и инвективность политической речи. Как пишет исследователь, «погоня за экспрессивностью и вообще субъективное отношение к жизни ведут к тому, что мы постоянно прибегаем к метафорам и всячески описываем, вместо того, чтобы определять» (Карцевский 1923: 11). Помимо анализа собственно речевых фактов исследователь обратил особое внимание на то, что язык как «социальное установление» чутко реагирует на политические изменения и отражает деление общества на различные группировки.

В публикациях того времени не всегда акцентировалась политическая составляющая языковых изменений, и особенности советской

политической коммуникации нередко рассматривались как новообразования в русском языке в целом. Среди исследований подобного рода монография шведского специалиста Астрид Бэклунд [Baecklund 1940], посвященная изучению сложносокращенных слов, столь характерных для советского политического языка.

Сопоставляя публикации исследователей из Европы и Америки, можно заметить, что европейские специалисты обращаются преимущественно к вопросам изменений в системе языка, обусловленным революцией и новым политическим режимом, тогда как американские исследователи предпочитают рассматривать методы и приемы использования языка как средства воздействия, к прагматике речевой деятельности в политической коммуникации.

**2. Лингвистическая советология в период холодной войны.** После Второй мировой войны отношения Советского Союза со странами Западной Европы и США резко изменились. На смену военному союзу объединенных наций пришли холодная война, железный занавес, равновесие страха и охота на ведьм.

Непредсказуемость в поведении советских вождей требовала от исследователей расширения методологической базы изучения дискурса с целью добиться более адекватного представления о советском политическом мышлении и решения задач по прогнозированию политической деятельности. Анализируя развитие советологии в это время, Д. Белл писал: «Если ад, как однажды сказал Томас Гоббс, это слишком поздно обнаруженная истина, то дорога в ад должна быть уже два раза устлана тысячами книг, утверждающих, что им известна истина о России, а адские пытки уготованы для тех (преимущественно дипломатов), кто полагал, что в состоянии правильно предсказать, как будут действовать советские вожди, и в самонадеянном убеждении вершил судьбы миллионов людей» [Bell 1958: 44].

Одним из нововведений лингвистической советологии стало расширение исследовательского инструментария за счет методов количественной семантики. В 1949 году была опубликована коллективная монография «Язык власти: Исследования по количественной семантике» (Language of Power 1949), значительная часть которой была посвящена политической коммуникации в Советском Союзе. Г. Лассвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон и другие исследователи на основе анализа коммуникативной практики коммунистов и иного подобного речевого материала выявляли различные взаимозависимости между семантикой языковых единиц, их частотностью и политическими процессами. Так, в совместном исследовании Сержа Якобсона и Гарольда Лассвелла «Первомайские призывы в Советской России (1918–

1943)» было выделено 11 категорий ключевых символов (обозначение «своих» и «чужих», использование национальной и интернациональной символики, обращение к внутренней и внешней политике и др.), а затем проведено исследование их частотности на различных этапах развития СССР. Авторы показывают, что такое исследование позволяет лучше понять динамические процессы в господствующей идеологии и нюансы советской политики.

В конце 40-х гг. советские языковые новообразования привлекают внимание и европейских специалистов, но в отличие от американских исследователей, определяющих свои публикации как изучение советского политического языка, европейцы предпочитали говорить о новых явлениях в русском языке, хотя политический контекст подобных исследований не вызывал сомнений. Среди таких исследований монография Г. Кляйна, посвященная изучению советских аббревиатур [Klein 1949].

По мере того как военное сотрудничество между СССР и странами Запада переросло в холодную войну, зарубежные исследователи стали обращать самое пристальное внимание на внутри- и внешнеполитические средства советской пропаганды. В это время появляется книга Алекса Инкелеса «Public Opinion in Soviet Russia: A Study in Mass Persuasion» («Общественное мнение в Советской России: Исследование массового убеждения») (Inkeles 1950). Помимо рассмотрения советской информационной политики она содержала анализ интервью с бывшими гражданами СССР. А. Инкелес пришел к выводу об «абсолютном» контроле СМИ советскими властями. Вместе с тем автор резюмировал, что «система советской коммуникации далека от того, чтобы обеспечивать тотальное убеждение населения, ее эффективность гораздо ниже того уровня, которого советские лидеры хотели бы достигнуть» (Inkeles 1950, p. 319).

Еще одним методологическим новшеством стала монография Натана Лейтеса «A Study in Bolshevism» (Исследование большевизма) (Leites 1954). Будучи американским исследователем, Н. Лейтес ставил перед собой прагматические цели: советский язык интересовал его в первую очередь как способ распутать механизмы загадочного большевистского (русского) мышления, как шаг к прогнозированию политических реакций коммунистических лидеров.

В этом труде Н. Лейтес исследовал образы, фантазии, характерные метафоры, используемые большевистскими лидерами (в основном Ленина и Сталина), а также «литературные модели», с которыми большевики себя идентифицировали, или которые отвергали. По словам Н. Лейтеса, существует мало культур, которые смогли так рельефно запечатлеть в своей литературе типы национального ха-

рактера. В частности, автор выделяет поведенческие модели, связанные с образами Карамазова, Раскольникова, Мышкина, Верховенского, Рудина, Чичикова, Обломова, чеховских героев. Анализируя отношение к этим поведенческим моделям в большевистском дискурсе, автор определил какие «психологические маски» принимаются, а какие отвергаются большевистскими лидерами, а соответственно с какой моделью мышления и поведения они себя идентифицируют.

Используя эти модели, Н. Лейтес обратился к методам фрейдизма в попытке высветить «латентные значения» большевистских образов. Проанализировав около 3 тысяч большевистских цитат, Н. Лейтес отмечает такие фобии как «страх импотенции», «фобия заражения» («чистка партии»), «боязнь быть избитым» (как например, в знаменитом выступлении Сталина перед управленцами советской промышленности в 1931 г., в котором образ избития и избиваемого используется одиннадцать раз в одном параграфе) и др.

Исследователь приходит к выводу о том, что модель большевистского поведения формировалась как отрицательная «реакция на Обломовых, которые проспали свою жизнь; на Рудиных, болтунов высокого полета, которые ничего не делают; на философию толстовского Каратаева». Большевистский дискурс пронизывает новый принцип – «КТО КОГО», который Н. Лейтес разворачивает в радикальную формулу «кто кого убьет». Противопоставление дискурса большевистской элиты с мировоззрением русской интеллигенции 19 в. привело Н. Лейтеса к выводам о том, что основоположником этого принципа был В. И. Ленин, «отец» большевистского дискурса и большевистского образа, которому и следовали «детиленинцы». Если элита 19 века легко поддавалась перемене настроения и для нее были характерны «задумчивость», «интроспективность», «поиски души», то представители большевистской элиты характеризуются исследователем как жесткие, подозрительные, неподатливые, агрессивные.

К слову, фашистские ученые перед вторжением в СССР тоже изучали русский характер по литературе, но они не сопоставляли эти данные с большевистским дискурсом (очевидно, что фашистской элите не нужны были «открытия» в области исследования тоталитарных дискурсов). В результате, фашистская армия ожидала увидеть на полях сражений апатичных чеховских героев и Обломовых, а встретила Маресьевых, Матросовых и Панфиловых.

Среди публикаций, авторы которых максимально полно демонстрируют неприятие советской власти и всего, что с ней связано (в том числе и изменений в русском языке), особой непримиримостью выделяется книга Анд-

рея и Татьяны Фесенко «Русский язык при советах», изданная в Нью-Йорке (Фесенко А., Фесенко Т. 1955). Один из основных факторов, формирующих советский дискурс, по мнению авторов, заключается в следующем: «Неприглядность советской жизни, расхождение многообещающей пропаганды и невеселой, подчас трагической действительности вызвали у властей необходимость в словесном одурманении, правда, часто разоблачавшемся в народе. Самолюбование и самовосхваление являются ширмой, прикрывающей безотрадное существование советских республик, за которыми установились восторженные эпитеты: цветущая Украина, солнечная Грузия и т.п.» (Фесенко А., Фесенко Т. 1955, с. 30). Рассматривая многочисленные случаи неудачного словоупотребления, авторы стремятся найти подлинную причину ошибок и делают следующий вывод: «Как бы это ни звучало парадоксально, но именно Революция создала в России исключительно благоприятную почву для засилия всякой канцелярщины, бюрократии и соответствующего им языка» (там же, с. 24).

Вместе с тем в рассматриваемой книге можно обнаружить весьма интересный обзор публикаций (особенно созданных вне Советского Союза) и немало конкретных замечаний об экспансии заимствований, а также просторечных, жаргонных и диалектных слов, о умеренном использовании сложносокращенных слов и необоснованном отказе от множества традиционных для русского языка лексических единиц. Обобщая свои наблюдения, авторы пишут: «Но все же основным процессом в советском языке, конечно явилась не архаизация, а политизация его при широком применении сокращений. Если Ленин пытался определить новый общественный строй формулой:

советы + электрификация = коммунизм,  
то говоря о состоянии русского языка в начальный период существования советской власти, можно для образности воспользоваться аналогичным построением:

политизация + аббревиация = советский язык» (там же, с.25).

Далее сообщается, что «новые формы жизни, а с ними и соответствующая лексика были чужды народу, так как в значительной степени создавались не им самим, а где-то в правительственных кругах» (там же, с. 25-26).

Подобный характер (немало метких наблюдений, сопровождающихся чрезвычайно язвительными комментариями и решительными обвинениями) носят и публикации ряда других эмигрантов из Советского Союза (Л. Ржевский 1949, 1951; Л. Тан 1950).

**3. Лингвистическая советология в период разрядки.** Зарубежные специалисты тщательно исследовали преобразования в советском политическом дискурсе, начавшиеся в

период оттепели. Эти процессы рассмотрел Д. Холландер в книге «Soviet Political Indoctrination: Developments in Mass Media and Propaganda Since Stalin» («Советское политическое внушение: изменения в СМИ и пропаганде со времен Сталина») (Hollander 1972). Автор констатировал, что на смену сталинской системе тотального контроля над массами пришла более гибкая и свободная система управления общественным сознанием, которая характеризуется относительно благоприятными возможностями для диалога и выражения различных точек зрения, в том числе и в официальных СМИ. Вместе с тем исследователи отмечали, что даже в период оттепели советские СМИ во многом придерживались традиций пропаганды, сложившихся при Сталине (Kecskemeti 1956).

Параллельно с исследованиями собственно языка пропаганды проводились исследования изменений в русском языке, произошедших после 1917 г. Очевидно, что большинство этих изменений были связаны не только с естественной эволюцией языка, но и с влиянием на него целого ряда социально-политических факторов. Наиболее известной работой такого рода стала монография Бернарда Корми и Джералда Стоуна «The Russian Language since the Revolution» («Русский язык после революции») [Comrie, Stone 1978].

Вместе с тем появляются специализированные работы по анализу отдельных аспектов советского политического языка, как, например, исследования И. Земцова [Земцов 1985; Zemtsov 1984], посвященные изучению манипуляционного потенциала советской политической терминологии. Специальные работы по изучению советского политического дискурса проводились так называемой «гренобльской группой» (см. сборник «Essais sur le Discours Soviétique: Semiologie, Linguistique, Analyse Discursive» [1981]).

Широкую известность получили семантико-синтаксические исследования П. Серию, суммированные в монографии «Analyse du discours politique Soviétique» («Анализ советского политического дискурса») (Seriot 1985), своего рода итогом которой стала метафора «деревянный язык», который определялся как некая «пародия на научный дискурс». В нашей стране хорошо известна статья П. Серию «Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинализаций» (Серию 1999), которая была написана и опубликована на французском языке еще в середине предыдущего десятилетия. Отталкиваясь от изучения, казалось бы, частного вопроса о функциях отглагольных существительных в докладах Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева на XXII и XXIII съездах КПСС, автор приходит к весьма серьезным выводам. По его мнению, причиной высокой частотности номинализаций является

общая тенденция к обобщенности, неопределенности и переложению ответственности: «введенное номинализацией «внетекстовое» не проявляется на эксплицитном уровне, оно не *показано*, а лишь *указано*, использовано, *введено под именем* некоторого объекта реальности» (Серио 1999: 379). Автор доказывает, что «советский политический дискурс характеризуется двумя противоположными тенденциями: декларируемыми гомогенностью, единством и монолитностью, с одной стороны, и лежащей в его основе неоднородностью – с другой» (Серио 1999: 381). Показательно, что однородность, стандартность, следование установкам на единство постоянно подчеркивается; соответственно инновации подаются как следование заветам классиков марксизма и предшествующим политическим решениям.

Метафора «деревянного языка» получила широкое распространение во Франции и за ее пределами. Известный советолог и профессор Сорбонны Франсуа Том так и озаглавил свою книгу о коммунистическом новоязе: «La langue de bois» («Деревянный язык») [Thom 1987] (в английском переводе [Thom 1989]). Помимо анализа лексико-синтаксических особенностей новояза Ф. Том указывает на закрепленное в «деревянном языке» особое отношение к Другому, который независимо от личностных качеств автоматически приписывается к враждебному сообществу, угрожающему коммунистическим ценностям.

Отдельное внимание исследователей было направлено на изучение прагматики советской политической коммуникации: эффективности советской политической пропаганды, лингвистических и концептуальных средств убеждения, используемых в советских СМИ (Lendvai 1981; Mickiewicz 1981; White 1980 и др.).

Политическая лингвистика часто оказывается значительно более инертной, чем живая политическая история. Уже М. С. Горбачев был избран лидером советских коммунистов, а многие советологи не могли отказаться от прежних подходов к исследованию советского политического языка. Их изыскания варьируются от изучения общественно-политической терминологии (Bruchis 1988) и исследования коммунистических нарративов (Bourmeyster 1988) до детального анализа новостной политики в конкретных советских СМИ (Roxburgh 1987) и структуры сигнификации в обращениях генеральных секретарей КПСС (Urban 1987). Но новая политическая ситуация и нарастающий общественный интерес к происходящим в Советском Союзе изменениям все настойчивее требовали принципиально новых подходов к изучению советской политической коммуникации.

**4. Лингвистическая советология в период демонтажа социалистической системы (от перестройки к постсоветскому периоду).**

Отношения между Советским Союзом и западными странами резко изменились в середине 80-х гг., что в значительной степени обусловило наступление нового этапа в развитии как общей, так и лингвистической советологии. В новых условиях все чаще появляются исследования явлений, связанных с новыми политическими процессами. В этот период американские и западноевропейские специалисты по советской политической коммуникации все чаще выступают в зарубежных изданиях качестве экспертов по новым процессам в советской (и российской) политической коммуникации. Эти же специалисты нередко выступают в советских СМИ как своего рода консультанты по демократизации языка и общества в целом.

Наибольшее внимание в середине и конце 80-х гг. привлекает дискурс М. С. Горбачева и формирующийся дискурс перестройки (Benn 1987, 1989; Downing 1988; Goban-Klas 1989; McNair 1989; Urban 1988; Woodruff 1989). На фоне особого внимания к социально-политическим процессам, проходящим в СССР, возникла потребность в исследованиях, позволяющих объяснить дискурсивные новообразования в советской политической коммуникации. Активно используемая в период перестройки политическая лексика нередко сбивала с толку западного читателя. Так, в СССР *консерваторами* называли коммунистов, в то время как на Западе консерваторы были традиционными противниками коммунизма. В СССР словосочетание *черный рынок* содержало мелиоративные коннотации, потому что черный рынок был единственным эффективно действующим экономическим механизмом, основывающимся на законе спроса и предложения. Специалисты отмечают, что слова *русский* (*Russian*) и *советский* (*Soviet*), традиционно воспринимаемые на Западе как синонимы, уже не являются взаимозаменяемыми и нередко употребляются в СССР для выражения антитезы между приверженцами советского режима и сторонниками демократических перспектив развития страны.

Интерес к дискурсу перестройки сохранился и в последующие десятилетия (DeLuca 1998; Erol 1993; Gibbs 1999; Mossman 1991; Russell, Carsten 1996; Walker 2003). Так, в монографии профессора Калифорнийского университета в Беркли Э. Уолкера (Walker 2003) были рассмотрены семантические трансформации ключевых символов советского политического дискурса в период перестройки: «суверенитет», «союз», «федерация», «конфедерация», «независимость». По мнению автора, активное употребление этих понятий привело к неожиданным для идеологов нового мышления результатам, потому что под одну и ту же форму выражения подводились самые различные и даже противоположные смыслы. Например, центральным партийным руково-

дством «независимость» понималась как новое и привлекательное название для автономности, тогда как демократические (а также сепаратистские и националистические силы в союзных и автономных республиках) понимали независимость как подлинное самоопределение. Подобные «коммуникативные недоразумения» сыграли существенную роль в дезинтеграционных процессах и становлении постсоветских государств.

А. Р. ДеЛюка (DeLuca 1998) проследил, как смена риторики М. С. Горбачева влияла на внутривнутриполитическую ситуацию в СССР и взаимоотношения Советского Союза с остальным миром. Автор последовательно демонстрирует, что новый политический и медийный дискурс, пропаганда политических символов *перестройки, гласности и нового мышления* меняли общественное мнение и привели не к реформированию, а к развалу системы.

Многие западные исследователи сходятся во мнении, что, изменяя советский политический дискурс, М. С. Горбачев надеялся ослабить тоталитарную дискурсивную практику, но не подозревал (или не до конца осознавал), что изменение краеугольных для политического дискурса концептов приведет к фундаментальному преобразованию самой действительности.

Не меньший интерес среди советологов вызвали проблемы функционирования политического языка начала 90-х гг., в период последнего кризиса советской государственности (Belin 2002; Downing 2002; Dunn 1999; Urban 1993). Исчезновение Советского Союза несколько не уменьшило интерес ученых к советскому политическому дискурсу. Сфера исследовательского интереса варьируется в самом широком диапазоне: от исследования языка революции и детального анализа генезиса советского «новояза» [Gorham 2003] до изучения эволюции идеологического дискурса с 1917 г. до 1991 г. и его роли в распаде СССР [Robinson 1995].

Более того, для советологов открылись новые перспективы. Демократические преобразования на постсоветском пространстве позволили объединить усилия отечественных и зарубежных специалистов, что привело к появлению совместных исследований (см. коллективную монографию *Political Discourse* 1998). В последнее время все чаще появляются переводы зарубежных исследований советского политического дискурса на русский язык (Вайс 2007; Лассвелл, Якобсон 2007; Лейтес 2007; Серю 2002 и др.).

Среди других особенностей современной советологии следует отметить возросший интерес к сопоставительному анализу. В частности, были проведены исследования советского политического дискурса переходного периода в сравнении с политической коммуникацией

других стран, в которых протекали схожие политические процессы (Downing 1996; Jones 2002; *Political Discourse* 1998). Немецкие исследователи Кристина Шеффнер и Сильвия Троммер сопоставили закономерности употребления метафоры «Наш дом – Европа» / «Европейский дом» в советском, британском и американском политическом дискурсе (Schäffner, Trommer 1990).

Появились исследования, посвященные диахроническому сопоставлению. Так, М. Дьюирст предпринял попытку сопоставить цензурные ограничения в дискурсе советских и российских СМИ 1991 и 2001 гг. (Dewhirst 2002), Дж. Терпин сопоставила содержание советских СМИ при Л. И. Брежневе и М. С. Горбачеве (Turpin 1995), а в монографии Дж. Меррея проанализирован медийный дискурс от эпохи Л. И. Брежнева до президентства Б. Н. Ельцина (Murray 1994).

Как известно, в современной России практически прекращено когда-то весьма активное изучение языка и стиля В. И. Ленина. На этом фоне несколько неожиданно выглядит изданная в Мюнхене книга Маркуса Хубеншмида, посвященная исследованию речей основоположника советского государства (Hubenschmid 1998).

Отдельного внимания заслуживает многоаспектная исследовательская программа Р. Д. Андерсона, направленная на сопоставление тоталитарного советского и демократического российского дискурсов. Основываясь на идеях, высказанных Г. Лассвеллом, Р. Д. Андерсон предпринял попытку найти практическое обоснование положению о том, что процесс коммуникации служит индикатором, позволяющим определить, разделено ли общество на управляющих и управляемых или представляет собой единое гражданское общество, в котором избиратели поддерживают тех или иных претендентов на власть. Излагая дискурсивную теорию демократизации [Anderson 2001a], исследователь пишет о том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях, а не в изменении социальных или экономических условий. По Р. Д. Андерсону, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа. Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе. Всякий текст (демократический или авторитарный) обладает информативным и «соотносительным» значением. Когда люди воспринимают



тексты политической элиты, они не только узнают о том, что политики хотят им сообщить о мире, но и о том, как элита соотносит себя с народом (включает себя в социальную общность с населением или отдаляются от народа).

Для подтверждения своей теории Р. Д. Андерсон обращается к сопоставительному анализу советско-российских политических метафор [Anderson 2001b; 2005]. Материалом для анализа послужили тексты политических выступлений членов Политбюро 1966-1985 гг. (авторитарный период), выступления членов Политбюро в год первых общенародных выборов (1989 г.) (переходный период) и тексты, принадлежащие известным политикам различной политической ориентации периода 1991-1993 гг. (демократический период).

Другим направлением исследовательской программы Р. Д. Андерсона стали психолингвистические исследования, в ходе которых анализировалась способность рядовых российских граждан видеть различия между разнохарактерными политическими текстами. К примеру, в одном из исследований изучались реакции россиян на текст политического выступления, относящегося к одному из трех этапов коммунистической эпохи, или текст постсоветского периода, который предъявлялся случайно отобранному жителю Москвы, Воронежа и Пскова. Тексты постсоветского периода принадлежали или «демократам» и центристам или националистам. В каждом городе респонденты легко определяли принадлежность текста постсоветского периода к одному из двух типов, в то время как с определением текста коммунистического периода возникали трудности [Anderson 1997]. Эксперимент показал, что одно из различий между демократическим и авторитарным дискурсами состоит в способности граждан дифференцировать языковые особенности политических лидеров.

К числу крупнейших зарубежных специалистов по лингвистической советологии относится профессор Цюрихского университета Даниэль Вайс [Weiss 1995, 1998, 1999, 2000, 2002 и др.], который возглавляет исследовательскую группу по изучению советского и восточноевропейского политического дискурса. Д. Вайс отличается опора на объемный и разнообразный речевой материал, детальная многоаспектная аргументация, стремление к сопоставлению различных дискурсов («сталинского», «хрущевского» и «брежневского», польского, восточногерманского и советского). Исследователь способен увидеть существенные различия в, казалось бы, похожих тенденциях. Например, в названных странах существовал своего рода культ молодости, чистоты и здоровья. Собственное здоровье как полюс, противоположный болезням и немощи политических врагов, демонстрировалось во время различных массовых спортивных мероприятий,

которые были тогда неотъемлемой частью политических ритуалов и олицетворяли пышущую здоровьем сплоченность собственных рядов. Как отмечает исследователь, об этом культе здорового тела красноречиво свидетельствует изобразительное искусство тоталитарной эпохи. Физическая закалка молодого поколения считалась одной из наиболее важных задач государства.

Значительное место в публикациях Д. Вайса занимает исследование советских отзоомимных метафор в советской прессе, которое показало, что зооморфное представление образа врагов особенно характерно для сталинского и хрущевского периодов, тогда как в дальнейшем роль вербальной и невербальной (плакаты, карикатуры и др.) зоосимволики заметно сократилась. Показательно, что в 30-50-х гг. прошлого века для характеристики «своих» применялись всего две метафоры из мира живой природы – орел и сокол: например, Сталин образно назвал Ленина «горным орлом», а летчики постоянно обозначались как «сталинские соколы».

Для обозначения «чужих» в рассматриваемых политических текстах использовалось более двадцати зооморфных образов. В советской зоосемиотике отсутствуют медведь и лиса – главные персонажи национального фольклора, зато широко упоминаются чуждые ему насекомые и ползучие гады. Вместе с тем до известной степени советская пропаганда была «гуманнее» нацистской: на политических карикатурах в Германии врагов (евреев) изображали в виде крыс и прочих мерзких тварей, тогда как в СССР такие образы не использовались. Хрущевская оттепель ознаменовалась помимо прочего смягчением зоологических метафор: например, у сталинского прокурора Вышинского образ собаки был представлен во фразе «расстрелять как поганых псов», а у Хрущева – в выражении «моська, лающая на слона» (об армии ФРГ).

Важное место в исследованиях Д. Вайса занимает сопоставительное изучение «новояза» в Польше, Германской Демократической Республике и Советском Союзе, а также сопоставление фашистского и коммунистического тоталитарных дискурсов. Показательно, что сопоставляя дискурсы сталинской и гитлеровской пропаганды, автор последовательно отмечает их однотипные черты («новояз», языковой эстремизм, аксиологическая поляризация, преобразование лексических значений, стандартность и повторяемость образов, метафоры войны, движения и будущего и др.). Например, с соответствием с принципом языкового экстремизма в национал-социалистической пропаганде использовались следующие устойчивые формулы: *неповторимые в мировой истории успехи; неслыханное в истории великое время; историческая речь; доверие*

*верующих; несгибаемое решение; непреклонная воля; брутальная решимость; беспощадная энергия; неповторимое славное прошлое* и т. д. Весьма похожие по организации сочетания были широко распространены в советском дискурсе: *небывалый успех; всемирно-историческая победа; титаническая деятельность КПСС; беспощадная борьба; беззаветная преданность; действенные шаги; твёрдое и последовательное проведение в жизнь; полное и безоговорочное присоединение; неуклонный прогресс; незыблемая основа; величайшее благо; глубочайшая благодарность; целиком и полностью* и т. д. (Вайс 2007).

С другой стороны, швейцарский исследователь постоянно выделяет существенные особенности сталинского и фашистского дискурса: для первого характерен интернационализм, а для второго – национализм; для первого коллективизм, а для второго индивидуализм; для первого обращенность к будущему, а для второго – культ прошлого. Фашисты умудрялись едва ли всех своих врагов представлять как евреев и им сочувствующих, тогда как образ врага в сталинском дискурсе был значительно разнообразнее; для фашистского дискурса было характерно обращение к природе и «корням», а в советской пропаганде воспевалась индустриализация как победа человека над силами природы. Сталин всегда позиционировал себя как последователя ленинских идей, воплощающий в жизнь «заветы Ильича», тогда как Гитлер считал себя единственным создателем нацизма. В отличие от ряда других исследователей, Д. Вайс акцентирует не сходство, а существенные различия между советским и фашистским «новоязом» (Вайс 2007).

В круг интересов современных советологов входит не только политический дискурс в СССР, но и средства манипуляции общественным сознанием при формировании образа СССР в политическом дискурсе других стран. Так, Р. Айви продемонстрировал, что в период холодной войны в США регулярно использовался эффект размывания границы между буквальными и метафорическими выражениями. Как пишет исследователь, в американском политическом дискурсе сложилась такая ситуация, при которой «мы перестаем говорить об одной сущности в понятиях другой сущности и начинаем воспринимать различные понятия (например, «дикарь» и «советский человек») как одно целое... Мы руководствуемся фигуральными выражениями, но действуем так, как будто они буквальные, не понимая, что две различные смысловые сферы сплелись в единое целое» (Ivie 1997, p. 72). Подобное исследование провел и Дж. Беккер, но предметом его анализа стал образ США в советской и российской прессе (Becker 2002).

Отдельного внимания заслуживают монографические исследования, в которых предпринимаются попытки комплексного обзора изменений в русском языке XX в. Среди работ такого рода выделяется монография Ларисы Рязановой-Кларк и Теренса Вэйда [Ryazanova-Clarke, Wade 1999]. Авторы рассматривают новообразования в русском языке по хронологическому критерию: выделяется восемь этапов в развитии языка от Октябрьской революции и Великой отечественной войны до Перестройки и постсоветского периода. Несколько другие критерии структурирования материала положены в основу коллективной монографии «The Russian Language in the Twentieth Century» («Русский язык в XX столетии») [Comrie et al. 1996]. Исследователи последовательно рассматривают изменения в произношении, интонации, морфологии, лексике, синтаксисе, орфографии, пунктуации, способах обращения и других аспектах. В обеих монографиях изменения рассматриваются в корреляции с социально-политическими изменениями.

Сопоставление исследований советского дискурса и публикаций по изучению образа СССР в западных государствах показывает, что некоторые явления, традиционно приписываемые тоталитарному дискурсу, были характерны и для формирования образа врага в политической коммуникации демократических стран. Чрезвычайно далеко от реальности навязываемое противопоставление благородных героев, распространяющих правду и воспевających идеалы свободы, гнусным лжецам, которые заботятся только о собственной выгоде. В условиях острой политической борьбы невозможно было всегда оставаться правдивыми и объективными, и это относится к практикам политической коммуникации, находящимся как по одну, так и по другую сторону идеологических баррикад.

Исследования коммуникативной практики в официальном политическом дискурсе Советского Союза продолжают до настоящего времени. Специалисты выделили характерные черты тоталитарного дискурса, для которого, как правило, свойственны централизация пропагандистской деятельности, претензии на абсолютную истину, идеологизация всех сторон жизни, лозунговость и пристрастие к заклинаниям. Среди признаков тоталитаризма выделяют также ритуальность политической коммуникации, превалирование монолога «вождей» над диалогичными формами коммуникации, пропагандистский триумфализм, резкую дифференциацию СВОИХ и ЧУЖИХ, пропаганду простых и в то же время крайне эффективных путей решения проблем. Сюда же следует отнести кардинальные различия между дискурсом господствующей партии и дискурсом оппозиции, существование наряду с официальным

дискурсом (новоязом) еще и «языкового сопротивления», «антитоталитарного дискурса».

Вместе с тем можно заметить, что большинство зарубежных «советологов» оказались не в силах обнаружить какие-либо достоинства в советском политическом языке. Читая подобные исследования, иногда невозможно понять, почему коммунистическая пропаганда добилась столь впечатляющих успехов во всем мире, чем можно объяснить чрезвычайную прагматическую эффективность советской политической коммуникации. Враждебность к коммунистической идеологии у некоторых советологов оборачивалась неприятием и острой критикой едва ли не всех аспектов соответствующей политической коммуникации и даже собственно языковых инноваций.

Остается надеяться, что в будущем как российские, так и зарубежные исследователи советского политического дискурса смогут объединить усилия и дать объективную характеристику лингвистических причин успехов и поражений советской пропаганды. По-прежнему остается актуальной задача разграничения общих закономерностей политической коммуникации, специфики тоталитарного дискурса и особенностей политической коммуникации в Советском Союзе. Значительные перспективы имеют сопоставление современного политического языка с политическим языком эпохи тоталитаризма и исследования постсоветской истории развития отечественного лингвополитического дискурса. Но это будет уже совершенно новый этап развития политической лингвистики, когда на смену лингвистической советологии придет не лингвистическая постсоветология, а наука, посвященная российской политической коммуникации в условиях политической свободы и демократии. Именно об этом и говорил Президент Российской Федерации, выступая перед сотрудниками и студентами Колумбийского университета.

#### **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

Андерсон Р. Д. Каузальная сила политической метафоры // Будаев Э. В., Чудинов А. П. Современная политическая лингвистика. – Екатеринбург: УрГПУ, 2006.

Вайс Д. Сталинистский и национал-социалистический дискурсы пропаганды: сравнение в первом приближении // Политическая лингвистика. – 2007. – № 3 (23).

Вайс Д. Новояз как историческое явление // Соцреалистический канон / ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. – Санкт-Петербург, 2000.

Земцов И. Советский политический язык. – Лондон, 1985.

Карцевский С. Язык, война, революция. – Берлин, 1923.

Лассвелл Г., Якобсон С. Первомайские лозунги в Советской России (1918-1943) // Политическая лингвистика. – 2007. – № 1 (21).

Лейтес Н. Третий Интернационал об изменениях политического курса // Политическая лингвистика. – 2007. – № 1 (21).

Малиа М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. – 1997. – № 5.

Меньковский В. Англо-американская советология в системе гуманитарных и социальных наук. Режим доступа: <http://newsletter.iatp.by/ctr3-4.htm>

Путин В. Выступление в Колумбийском университете 26.09.2003. Режим доступа: [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru).

Ржевский Л. Язык и тоталитаризм. – Мюнхен, 1951.

Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – Москва: ОАО ИГ «Прогресс», 2002.

Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при советском режиме. – Нью-Йорк, 1955.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика. – М.: Флинта; Наука, 2006.

Юровский В. Структура и стиль советского политического некролога после 1945 года. // *Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen)* / ed. D. Weiss. – Bern; Frankfurt, 2000.

Anderson R. D. 'Look at All Those Nouns in a Row': Authoritarianism, Democracy, and the Iconicity of Political Russian // *Political Communication*. – 1996. – Vol. 13. – № 2.

Anderson R. D. Speech and Democracy in Russia: Responses to Political Texts in Three Russian Cities // *British Journal of Political Science*. – 1997. – Vol. 27.

Anderson R. D. The Discursive Origins of Russian Democratic Politics // *Postcommunism and the Theory of Democracy*. – Princeton: Princeton University Press, 2001a. – P. 96-125.

Anderson R. D. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics // *Slavic Review*. – 2001b. Summer.

Anderson R. D. The Causal Power of Metaphor: Cueing Democratic Identities in Russia and Beyond // *Metaphorical World Politics: Rhetorics of Democracy, War and Globalization*. – East Lansing: Michigan State University, 2005.

Belin L. The Russian Media in the 1990s // *Journal of Communist Studies and Transition Policies*. – 2002. – Vol. 18. – № 1.

Bell D. Ten Theories in Search of Reality: The Prediction of Soviet Behavior in the Social Sciences // *World Politics*. – 1958. – Vol. 10.

Benn D. Glasnost in the Soviet Media: Liberalization or Public Relations? // *Journal of Communist Studies*. – 1987. – Vol. 3. – № 3.

Benn D. Persuasion and Soviet politics. – Oxford, 1989.

Bourmeyster A., Soviet political discourse, narrative program and the Skaz theory // *The Soviet Union: Party and Society* / Ed. by P. J. Potichnyj. – Cambridge, 1988.

Bruchis M. The nationality policy of the CPSU and its reflection in Soviet socio-political terminology //

The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Comrie B., Stone G. The Russian Language since the Revolution. – Oxford, 1978.

Comrie B., Stone G., Polinsky M. The Russian Language in the Twentieth Century. – Oxford; New York, 1996.

DeLuca A. R. Politics, Diplomacy, and the Media: Gorbachev's Legacy in the West. Westport; London: Praeger Publishers, 1998.

Dewhirst M. Censorship in Russia, 1991 and 2001 // Journal of Communist Studies and Transition Policies. – 2002. – Vol. 18. – № 1.

Downing J. Issues for media theory in Russia's transition from dictatorship // Media Development. – 2002. – Vol. 1.

Downing J. Internationalizing Media Theory. Transition, Power, Culture. Reflections on Media in Russia, Poland and Hungary 1980-95. – London: Sage Publications, 1996.

Downing J. Trouble in the Backyard: Soviet Media Reporting on the Afghanistan Conflict // Journal of Communication. – 1988. – Vol. 2.

Dunn J. The Transformation of Russian from a Language of the Soviet Type to a Language of the Western Type // Language and Society in Post-Communist Europe: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995. – Basingstoke: Macmillan Press, 1999.

Erol N. Ideology as political discourse: a case study of print media discourses on Glasnost and Perestroika. – East Lansing: Michigan State University, 1993.

Essais sur le Discours Soviétique: Semiologie, Linguistique, Analyse Discursive, III. Université de Grenoble, 1981.

Gibbs J. Gorbachev's Glasnost. The Soviet Media in the First Phase of Perestroika. – College Station: Texas A & M University Press, 1999.

Goban-Klas T. Gorbachev's Glasnost: A Concept in Need of Theory and Research. // European Journal of Communication. – 1989. – Vol. 4. – № 3.

Gorham M. S. Speaking in Soviet tongues. Language culture and the politics of voice in revolutionary Russia. – DeKalb, Ill., 2003.

Hollander D. Soviet Political Indoctrination: Developments in Mass Media and Propaganda Since Stalin. – New York: Praeger Publisher, 1972.

Hubenschmid M. Text und Handlungsrepräsentation: Ein Analysemodell politischer Rede am Beispiel V.I. Lenins. – München: Sagner, 1998.

Inkeles A. Public Opinion in Soviet Russia. A Study in Mass Persuasion. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1950.

Ivie R. L. Cold War Motives and the Rhetorical Metaphor: A Framework of Criticism // Cold War Rhetoric: Strategy, Metaphor, and Ideology. – East Lansing: Michigan State University Press, 1997.

Jones A. The Press in Transition: A Comparative Study of Nicaragua, South Africa, Jordan, and Russia. – Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 2002.

Kecskemeti P., The Soviet Approach to International Political Communication // The Public Opinion Quarterly. – 1956. – Vol. 20. – № 1. (Special Issue on Studies in Political Communication).

Klein H. Die Abkürzungen in der heutigen russischen Sprache. – Graz, 1949.

Language of Power: Studies in Quantitative Semantics / Ed. by H. D. Lasswell, N. Leites. – New York: George W. Stewart, 1949.

Leites N. A Study of Bolshevism. – Glencoe, Ill., 1954.

Lendvai P. The Bureaucracy of Truth. How Communist Governments Manage the News. – London: Burnett Books, 1981.

Lippmann W., Merz, Ch., A Test of the News // The New Republic. – 1920. – Vol. 33(2).

Mazon A. Lexique de la guerre et de la révolution en Russie. – Paris, 1920.

McNair B. Glasnost, Restructuring and the Soviet Media. Media, Culture and Society. – 1989. – Vol. 11. – № 3.

McNair B. Glasnost, perestroika, and the Soviet media. – London; New York: Routledge, 1991.

Mendras E. Remarques sur le vocabulaire de la Révolution russe. – Paris, 1925.

Mickiewicz E. Media and the Russian Public. – New York: Praeger, 1981.

Mossman E. Changing Patterns of Russian Political Discourse: A Dictionary of Russian Politics 1985-Present. – Washington: National Council for Soviet and East European Research, 1991.

Murray J. The Russian Press from Brezhnev to Yeltsin. – Aldershot: Edward Elgar, 1994.

Petersson B. The Soviet Union and peacetime neutrality in Europe: A study of Soviet political language. – Lund, 1990.

Political Discourse in Transition in Europe 1989–1991 / Ed. by P. Chilton, M. V. Ilyin, J. L. Mey. – Amsterdam; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub, 1998.

Robinson N. Ideology and the collapse of the Soviet system. A critical history of Soviet ideological discourse. – Aldershot, 1995.

Roxburgh A. Pravda, Inside the Soviet News Machine. – London: Victor Gollancz, 1987.

Rush M. The Rise of Khrushchev. – Washington, 1958.

Schäffner Ch., Trommer S. Zum Konzept des 'gemeinsamen Hauses' im Russischen und Englischen // Gibt es eine prototypische Wortschatzbeschreibung? Eine Problem Diskussion / Hrsg. von Ch. (Christina) Schäffner. – Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1990.

Russell J. S., Carsten S. The impact of Gorbachev's new thinking on the Russian language // Russistika. – 1996. – № 13.

Ryazanova-Clarke L., Wade T. The Russian Language Today. – London, 1999.

Schramm W. The Soviet Communist Theory // Four Theories of the Press / Ed. by F. S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm. – Urbana: University of Illinois Press, 1956.

Thom F. La Langue de Bois. – Paris: Julliard, 1987.

Thom F. Newspeak. The Language of Soviet Ideology. – London: The Claridge Press, 1989.

Turpin J. Reinventing the Soviet Self. Media and Social Change in the Former Soviet Union. – Westport: Praeger, 1995.

Urban M. Political language and political change in the USSR: notes on the Gorbachev leadership // The Soviet Union: Party and Society / Ed. by P. J. Potichnyj. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Urban M., The Russian Free Press in the Transition to a Post-Communist Society. The Journal of Communist Studies. – 1993. – Vol. 9. – № 2.

Urban M. The Structure of Signification in the General Secretary's Address: A Semiotic Approach to Soviet Political Discourse // Coexistence. – 1987. – Vol. 24. – № 3.

Weiss D. Alle vs. einer. Zur Scheidung von good guys und bad guys in der sowjetischen Propagandaspache // Slavistische Linguistik 1999. Referate des XXV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Konstanz / ed. W. Breu. – München, 2000b.

Weiss D. Der alte Mann und die neue Welt. Chruščev's Umgang mit „alt“ und „neu“ // Vertogradъ mnogocvĕtnyi. Festschrift für H. Jachnow / W. Girke, A. Guski e.a. (eds.). – München, 1999a.

Weiss D. Die Entstalinisierung des propagandistischen Diskurses (am Beispiel der Sowjetunion und Polens) // Schweizer. Beiträge zum XII. Internationalen Slavisten-Kongress 1998 in Krakau / Locher, J.P. (ed.). – Frankfurt/Bern, 1998.

Weiss D. Die Verwesung vor dem Tode. N.S. Chruščev's Umgang mit Fäulnis-, Aas- und Müllmetaphern // Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen) / D. Weiss (ed.). – Bern/Frankfurt, 2000a.

Weiss D. Mißbrauchte Folklore? Zur propagandistischen Einordnung des „sovetskij fol'klor“ // Slavistische Linguistik 1998. Referate des XXIV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Wien, 15.-18.9.1998. / R. Rathmayr, W. Weitlaner (eds.). – München, 1999b.

Weiss D. Personalstile im Sowjetsystem? Stalin und Chruščev im Vergleich // Wege der Kommunikation in der Geschichte Osteuropas. Festschrift für C. Goehrke / (Hrsg.) N. Boškowska, P. Collmer, S. Gilly u.a. – Bern/Frankfurt, 2002.

Weiss D. Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion // Slavistische Linguistik 1994. Referate des 20. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / D. Weiss (ed.). München, 1995.

Walker E. W. Dissolution: Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union. – Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

White S. The Effectiveness of Political Propaganda in the USSR // Soviet Studies. – 1980. – Vol. 32. – № 3.

Zemtsov I. Manipulation of a Language. The Lexicon of Soviet Political Terms. – Fairfax: Hero Books, 1984.

© Будаев Э.В., Чудинов А.П., 2007

**Даниэль Вайс**

Цюрих, Швейцария

**Перевод: Анна Бернольд**

**СТАЛИНИСТСКИЙ  
И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ  
ДИСКУРСЫ ПРОПАГАНДЫ:  
СРАВНЕНИЕ В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ**

(Настоящая публикация осуществлена в рамках проекта по исследованию истории вербальной пропаганды в Советском Союзе и Народной Польше при содействии Швейцарского Национального фонда с 1996 по 2001 гг. Кроме цитируемых здесь работ Р. Куммер [2000], В. Юровского [2000], [2001], а также самого автора, сюда относятся статьи, опубликованные в [Weiss 2000a], а также в «Forum für osteuropäische Zeit-und Ideengeschichte 5/1 2001»)

**Abstract**

*This article tackles a challenging topic: how much does Stalinist propaganda have in common with the public discourse of the Third Reich, and in what respects do they diverge? At the surface, one certainly finds striking parallels: in both codes, the general tendency to phraseological boundness results in semantically identical expressions reflecting common preference for extreme values, for semantic totality, dynamic and militaristic metaphors, etc. But if we dive beneath this surface, we will detect much more important and deeply rooted ideological divergencies, all of which are reflected in different linguistic strategies. To mention but the most salient ones among them: both systems are fascinated by modern technology, but at the same time the Nazi regime propagates the return to nature and agrarian society, which is completely alien to Stalinism. In the same vein, in Nazi propaganda the opposition 'old vs. new' is by no means axiologically unequivocal since the cult of the new society contrasted sharply with the idealizing attitude towards the myths of Germanic history, which produced a revival of archaic social terms; again, this had no counterpart in Soviet Union, even if the rise of Soviet patriotism also led to the reevaluation of Russia's feudalistic past and engendered an archaizing "Soviet folklore" as the most exotic flower of propaganda. The same contradictory attitude marked the Nazi attitude to science: on the one hand, it served as the source of technological success, on the other hand, the Nazi propaganda praised the role of instinct as the decisive force; again, this kind of antiintellectualism was totally absent in Soviet Union. And finally, the linguistic manifestation of the mechanisms of terror (image of the enemy) and of the cult of personality in both systems reveals a host of essential divergencies which in the final account prevail on the seeming parallels.*

\*\*\*

Новый толчок к сравнительному исследованию фашистской и коммунистической диктатур был вызван дебатами вокруг «Чёрной книги коммунизма» [Courtois / Werth / Ranné и др. 1998]. Как показывает обзор Д. Шмихен-Акермана [Schmiechen-Ackermann 2002], вопрос о